

## Къ вопросу о Новомъ Человѣкѣ въ Россіи.

Въ какой мѣрѣ романъ, повѣсть, могутъ быть историческими источниками? Вопросъ этотъ очень сложенъ. Извѣстно, какъ часто и какъ грубо злоупотребляютъ памятниками этого рода, — и уже это одно порождаетъ противоположную склонность: отказываться отъ пользованія ими совсемъ при изученіи быта, нравовъ, духовныхъ интересовъ того или другого историческаго момента. Разумѣется, и это ошибка. Писатель, по необходимости, «сынъ своего времени» и въ его вещахъ оно такъ или иначе отражено. И чѣмъ вдумчивѣе, чѣмъ даровитѣе онъ, тѣмъ болѣе основаній ожидать въ его вещахъ жизненной правды. Но этотъ критерій слѣдуетъ уточнить. Все дѣло въ подходѣ писателя къ действительности — и въ этомъ отношеніи классическимъ является знаменитое шиллеровское разграниченіе двухъ видовъ художественнаго творчества — «наивное» и «сентиментальное» (хотя, конечно, элементы «наивности» и «сентиментальности» могутъ наличествовать вмѣстѣ въ одномъ и томъ-же произведеніи). Какъ бы то ни было, безспорно, что Донъ-Кихотъ, Томъ Джонсъ, Капитанская Дочка, Дубровский, Война и Миръ, являются правдивѣйшими и цѣннѣйшими историческими документами, въ томъ смыслѣ, что въ нихъ жизнь изображена такою, «какова она была въ действительности», — причемъ совершенно неважно, что Толстой не былъ современникомъ Александровской эпохи: онъ настолько

былъ связанъ съ ней живой традиціей, что, благодаря его «наивному» подходу къ жизни, ему удалось совершить настоящее чудо — воскрешенія прошлаго. Толстой изъ всѣхъ писателей «реалистовъ» — величайшій, и потому критеріемъ «документальности», «реалистичности», «объективности» литературнаго произведенія можетъ, кажется мнѣ, служить одинъ признакъ: насколько въ немъ чувствуется, угадывается сродство съ толстовскими.

Вотъ съ этой точки зрѣнія вышедшій въ прошломъ году романъ Юрія Германа «Наши Знакомые» представляетъ, на мой взглядъ, исключительный интересъ, какъ историческій источникъ, и притомъ, какъ видимый ниже, въ двухъ отношеніяхъ. Г. В. Адамовичъ, пристально слѣдящій за совѣтской литературой, высказался о Германѣ, что это самый замѣчательный изъ всѣхъ новыхъ совѣтскихъ писателей, и пояснилъ, въ чемъ эта его замѣчательность: въ чувствѣ жизни. Жизненность, умѣніе изобразить происходящее такъ, что «фигурные» персонажи становятся действительно «нашими знакомыми», — это и есть основная толстовская черта. Въ романѣ Германа болѣе 600 страницъ. Главный персонажъ романа, Антонина Старосельская («Тося»), съ нею почти не сходятъ. Если-бы пересказать «своими словами» всѣ ея приключенія — все одной и той же категоріи, различныя неудачи въ поискахъ лучшей участи, которой она «достойна», вплоть до ожида-

емаго зранѣе happy end'a, показлось-бы очень шаблоно и скучно, вполне въ духѣ стариннаго чувствительнаго романа. А Германъ умѣетъ все это рассказать такъ, что оторваться нельзя, ибо Тося сразу, съ первыхъ - же строкъ, въ нашемъ сознаниіи изъ «героини романа» превращается въ «нашу знакомую». Въ чемъ гутъ секретъ? Попробую подвести къ его раскрытію, беря задачу одинъ отрывокъ: «Онѣ приходили обычно подѣ вечеръ и одѣты были особенно-парадно, съ гѣмъ торжественнымъ и милымъ выраженіемъ, которое бываеъ у людей, радующихся театру, или вечеринкѣ, или празднику, еще не привыкшихъ ко всему этому, а главное — занимающихся другимъ и важнымъ дѣломъ, по отношенію къ которому театръ или вечеринка — особое и радостное событіе. Если-бы я не предупредилъ зранѣе, что это цитата изъ «Нашихъ Знакомыхъ», то, я увѣренъ, всякій читавшій Толстого подумалъ-бы, что это его слова. Можно было-бы показать, что здѣсь все строеніе рѣчи, подборъ словъ, ритмъ. — чисто толстовскіе. Подражаніе? Толстому подражать нельзя, ибо подражать можно лишь «манерѣ»; а у Толстого манеры нѣтъ; есть только стиль. Стиль не копируется, а творчески усваивается, что предполагаетъ духовное сродство. Вліяніе Толстого очевидно. Рассказъ, какъ Тося еще дѣвочкой, влюбившись въ актера, отправляется на вокзалъ повидать его передъ отъѣздомъ, какъ она бѣжитъ за лоуѣздомъ, навѣявъ, повидимому, знаменитымъ эпизодомъ изъ Воскресенія; рассказъ, какъ она потеряла общественныя деньги, при-

водить на память конецъ Поликушки — и можно было бы приести еще немало параллелей изъ «Наш. Знак.» и «Войны и Мира», «Анны Карениной», «Крейц. Сонаты». Но въ томъ-то и дѣло, что прямыхъ заимствованій нѣтъ; параллели эти всѣ — лишь отдаленныя; сходство не столько въ «сохраненіи», въ фабулѣ, сколько въ тонѣ, въ передачѣ того неизяснимаго, таинственнаго, что составляетъ сущность жизни, въ чисто-толстовскомъ ощущеніи «реального присутствія» этой субстанции во всѣхъ жизненныхъ проявленіяхъ: не будь этого, иной эпизодъ изъ романа Германа могъ-бы скорѣе заставить насъ вспомнить о какомъ-нибудь другомъ романѣстѣ, чѣмъ о Толстомъ.

Въ своей статьѣ о нынѣшней совѣтской литературѣ въ июльскомъ номерѣ «Рус. Записокъ», Адамовичъ замѣчаетъ, что конецъ германовскаго романа «казенный». Это замѣчаніе слѣдуетъ снабдить рядомъ оговорокъ, — и это-то и подведетъ насъ къ уразумѣнію того, въ чемъ показательное значеніе книги Германа. Прежде всего, если «лодъ «казенщиной» понимать сообразованіе съ «соціальнымъ заказомъ» или съ «генеральной линіей», то ея немало не только въ концѣ романа. Во всѣхъ главахъ, посвященныхъ жизни въ верьдаевскомъ «массивѣ» (своего рода «Фаланстеръ») и нравственному возрожденію Антонины, Толстой явно уступаетъ мѣсто Чернышевскому съ его, въ художественномъ отношеніи ужасающимъ, «Что дѣлать?» И это еще не все. Сему Щупака, самоотверженнаго работника на «гидроторфѣ» въ провинціи, вызываютъ въ

парткомъ. Въ кабинетѣ секретаря сидитъ нѣкто, заинтересовавшийся дѣятельностью Семы. Онъ задаетъ Семѣ вопросы. Тотъ въ недоумѣніи: «...вѣдь я даже не знаю... съ кѣмъ, такъ сказать, имѣю честь...» — Человѣкъ называетъ свою фамилію. Семѣ покачалось, будто онъ ослышался... Неужели это тотъ человѣкъ, о которомъ онъ столько читалъ? Неужели ему онъ, Сема, говоритъ о ячневой крупѣ, о баранинѣ, о свиной капустѣ?... Кто-же этотъ онъ? Авторъ умалчиваетъ, должно быть потому, что есть имена, которыя произносить святотатственно, да къ тому-же и излишне. Всякій іудей зналъ, что Эль, Онъ Библии это — Богъ. Ту-же благоговѣйную стыдливость авторъ проявляетъ всюду, гдѣ рѣчь идетъ объ орудіи всеблагого Провидѣнія, Альтусѣ. Альтусъ появляется неоднократно, но всякій разъ лишь на мигъ — для того, чтобы посрамить пороки и обезпечить торжество добродѣтели, устроить все къ общему благополучію (въ концѣ концовъ, этотъ идеальнѣйшій человѣкъ женится на Антонинѣ). Въ чемъ состоитъ его, какъ онъ скромно говорить, «черная работа», связанная съ рискомъ для жизни, авторъ опять-таки умалчиваетъ. Сказать прямо — агентъ ГПУ было-бы чересчуръ прозаично. И вотъ, когда авторъ говоритъ объ этихъ объектахъ совѣтской религіи, слышится голосъ Фаддѣя Булгарина.

Итакъ, Толстой, Чернышевскій, Булгаринъ — какая разногласица! И эти срывы въ пошлятину, безвкусицу у автора, судя по всему очень культурнаго, — развѣ они не свидѣтельствуютъ о какой-то его измѣнѣ себѣ самому,

о томъ, что онъ или себя обманываетъ, или обманываетъ читателя? Можно было-бы остановиться на этомъ выводѣ, какъ лишнемъ доказательствѣ общезвѣстнаго факта того порабощенія, въ которомъ находится въ Россіи литература. Но мнѣ кажется, что дѣло обстоитъ много сложнее. Въ одной изъ своихъ статей въ «Новой Россіи» Г. П. Федотовъ сравнилъ совѣтскую литературу съ литературой XVIII вѣка: тѣ-же казенные восторги, тѣ-же раболовство, тѣ-же льстивыя похвалы, расточаемыя сильнымъ міра. Показательно, что въ примѣръ онъ привелъ — Державина, упустивъ изъ виду то, что самъ Державинъ сказалъ о себѣ, а именно, что, когда онъ разувѣрился въ «божественности» Екатерины и увидѣлъ, что она такой-же человѣкъ, какъ и другіе, онъ уже не могъ написать ничего «въ родѣ Фелицы». Этотъ промахъ Федотова вряд-ли случайность: трудно, глядя со стороны, усмотрѣть различіе между «энтузиазмомъ» истиннымъ и наиграннымъ, между похвалой отъ души и сознательной лестью, между исповѣданіемъ и «сообразованіемъ». И это еще не все. Существуетъ-ли въ дѣйствительности точная грань между тѣмъ и этимъ? Безъ надежды и безъ вѣры жить невозможно, и какъ часто человѣкъ старается заставить себя повѣрить въ то, во что вѣрятъ другіе или во что предписывается вѣрить, хотя-бы затѣмъ, чтобы не чувствовать себя отщепенцемъ, одиночкой, не утратить связи съ общей жизнью. И какъ къ тому-же велико воздѣйствіе общепринятаго ритуала, словесныхъ внушеній, всего того, что

считается «приличным», мѣркою «порядочности». Для того, чтобы распознать, гдѣ кончается истинная вѣра — или хотя-бы само-внушение — и гдѣ начинается сознательный «конформизмъ», — единственный критерій, поскольку дѣло идетъ о литературѣ, конечно только тотъ-же: степень художественности. И вотъ съ этой точки зрѣнія важно отмѣтить, что ни «Чернышевскій», ни «Булгаринъ» нигдѣ и никогда не вытѣсняютъ у Германа нацѣло «Толстого». Альтусъ, можетъ быть, черзчуръ «душка», и все-таки не геряетъ вполне сходства съ живымъ человѣкомъ. Это-то и позволяетъ предположить, что простымъ конформизмомъ, угодничествомъ всѣхъ срывовъ у Германа объяснить нельзя. И во всякомъ случаѣ тамъ, гдѣ у него рѣчь идетъ о новомъ общественномъ строѣ, о новомъ — не божествѣ и ангелахъ его — а просто человѣкѣ. Здѣсь, для правильного пониманія автора, необходимо преодолѣть иные привычные взгляды. На собраніи «поварь-производственниковъ» «руководящій поварь» Вишняковъ, чувствуемый по случаю награжденія его орденомъ Трудового Краснаго Знамени, произноситъ рѣчь. Онъ рассказываетъ о томъ, какъ онъ всю жизнь страдалъ, служа, при старомъ режимѣ, сукину сыну кн. Вадбельскому, и какъ осуществилъ послѣ Революціи свое призваніе, ставши шефомъ-кулинаромъ массива и получивъ такимъ образомъ возможность приобщить трудящіяся массы къ радостямъ стола, заставить ихъ узнать и понять, что такое вкусная и питательная пища, оцѣнить поварское искусство. Рѣчь эта

врядъ-ли не чистая выдумка и насъ она не трогаетъ ничуть; но Фурье, навѣрно, пришелъ-бы отъ нея въ восторгъ, и ему и въ голову-бы не пришло сомнѣваться въ искренности автора. Въ извѣстномъ отношеніи онъ былъ-бы правъ. Пусть авторъ и выдумалъ своего Вишнякова: это не значитъ, что онъ создалъ его «сизъ ничего». Вишняковъ возможенъ и когда-то онъ былъ — въ тѣ времена гильдій, цеховъ, когда не было различія между «ремесленникомъ» и «художникомъ», когда слово *art* обозначало оба эти лишь по нашимъ понятіямъ различные виды дѣятельности, и когда, въ средневѣковыхъ коммунахъ, такой «мастеръ» работалъ не на анонимнаго массоваго потребителя, но на сосѣдей, знакомыхъ, «товарищей». Обратимся къ другому типу «новаго человѣка» у автора. Это Володя, сынъ арага, ловкаго и много зарабатывающаго человѣка. Узнавши, что отецъ торгуетъ наркотиками и вообще занимается темными дѣлами, Володя доноситъ на него въ милицію, а самъ бросаетъ домъ, уходитъ ни съ чѣмъ и начинаетъ честную трудовую жизнь. Съ точки зрѣнія привычной европейской морали, поступокъ Володи чудовищень. Но въ Римѣ, въ Спартѣ, въ Аѳинахъ всякій бы его одобрилъ. Мы не задумываемся надъ гѣмъ, какъ много условнаго, нелѣпаго, внутренне-противорѣчиваго, непослѣдовательнаго въходячей морали, съ ея разграниченіемъ сферъ «частныхъ» и «общественныхъ» или «государственныхъ» отношеній и видовъ и степеней нравственной отвѣтственности. Человѣкъ, который, можетъ быть, предпочелъ-бы мучаться отъ

голода, чѣмъ украсть хотя-бы одинъ рубль у богача, не видитъ ничего дурного въ томъ, чтобы скрыть отъ таможеннаго чиновника новый костюмъ, купленный за границей. Судья подписывающій смертный приговоръ преступнику, шарахается отъ палача, приводящаго этотъ приговоръ въ исполненіе. Государство, Общество для насъ черезчуръ большія величины. Наше сознание отстало на вѣка отъ ихъ разрастанія, и потому онѣ не живутъ въ немъ конкретно, а скорѣе какъ отвлеченныя понятія. Въ силу этого и «гражданинъ» не мыслится нами какъ «человѣкъ», какъ личность, а какъ безличный атомъ этого коллективнаго, намъ въ сущности чуждаго цѣлага — въ отличіе отъ отца, матери, сына, или сосѣда, пріятеля, или, наконецъ, посторонняго человѣка, поскольку съ послѣднимъ мы вступаемъ въ «частныя» отношенія. Судья приговариваетъ къ смерти не «человѣка», а вотъ эту безличную, анонимную «дробь», нѣчто «умопостигаемое», ирреальное, «безчлотное». Иное дѣло палачъ, переводящій эту чисто, такъ сказать, умственную операцію въ планъ реальности, касающійся тѣла приговореннаго. Для судьи онъ является истиннымъ виновникомъ того ужасающаго дѣла, на какое онъ самъ-бы не отразился, хотя палачъ выполнилъ только то, чего онъ отъ него потребовалъ; ибо, повторяю, въ сознаниі судьи — въ нашемъ, общемъ сознаниі — приговоренный къ смерти и казнимый существуютъ какъ два различныхъ, относящихся, каждый, къ двумъ несводимымъ планамъ бытія, объекта — сколь это ни абсурдно.

Благороднѣйшіе умы давно осознали весь ужасъ этихъ, выражаясь языкомъ Бэкона, «идоловъ» нашего нравственнаго сознанія и необходимость преодоленія его, необходимость осуществленія христіанскаго принципа братства. Признать, что всѣ люди братья — а съ тѣхъ поръ какъ нашъ міръ сталъ христіанскимъ, вѣдь, формально по крайней мѣрѣ, это общеобязательная истина, — значитъ, если быть послѣдовательнымъ, признать, что всякій коллективъ то-же самое, что семья или родъ, что во всѣхъ сферахъ жизни и дѣятельности единственно нормальными междучеловѣчскими отношеніями являются отношенія личныя; что всякій человѣкъ для всякаго другаго — персона, а не предметъ пользованія или просто единица, математическое понятіе. И несоотвѣтствіе дѣйствительности съ этимъ принципомъ стало бить въ глаза съ особенной рѣзкостью съ тѣхъ поръ, какъ онъ былъ выдвинутъ уже не только въ качествѣ основы христіанской этики, но и въ качествѣ основы положительнаго права, и какъ вмѣстѣ съ тѣмъ, въ результатъ засилья анонимнаго капитала, банковъ, акціонерныхъ обществъ, междудюдскія отношенія все болѣе и болѣе приобрѣтали характеръ безличности, бездушія. Величайшіе представители общественной мысли новѣйшаго времени, Фурье, Оуэнь, Прудонъ, Герценъ, Кропоткинъ, Сорель, Пэги, Де-Манъ, — всѣ они сознали, что продолженіе этого противорѣчія между нравственными требованіями и дѣйствительностью возможно только путемъ социальной революціи, кореннымъ образомъ отличающейся отъ то-

го, что принято разумѣть подъ политической революціей, революціей, сводящейся къ измѣненію условій труда такъ, чтобы каждый человѣкъ сознавалъ, что онъ работаетъ не только для себя, но и для другихъ; чтобы всякая дѣятельность была какъ-бы частью общаго дѣла, чтобы каждый, въ свой или иной мѣрѣ, несъ свою долю ответственности за успѣхъ или неудачу этого общаго дѣла; чтобы въ этомъ отношеніи уничтожилась грань между «активными» членами общества и «пассивными», т. е. въ сущности находящимися внѣ Общества. Въ предѣлахъ это должно было привести къ осуществленію идеи Демократіи во всей полнотѣ, т. е. къ тому, что каждый гражданинъ могъ-бы сказать о себѣ въ буквальномъ смыслѣ: «Государство — это я», что, въ глазахъ Прудона и тѣхъ немногихъ, которые были въ состояніи понять его сложную и глубокою мысль, было-бы равносильно переходу къ состоянію **ан-архій**, — не въ смыслѣ безвластія, господства, произвола, но въ смыслѣ устранения тѣхъ перегородокъ, которыя въ людскомъ сознаніи, а потому и въ жизни, существуютъ между Государствомъ и Обществомъ, между Личностью и Коллективомъ, между Властью и подвластными, между сферами личныхъ, частныхъ и политическихъ отношеній.

Но какъ добиться этого? Какъ осуществить эту революцію? Революція немислима безъ примѣненія силы. Не есть-ли это измѣненіе идеѣ **ан-архій**, т. е. свободы? Но и Прудонъ, и Кропоткинъ, и Сорель понимали подъ этимъ актъ насильственной ликвидаціи начала государственнаго принужде-

ній, освобожденія общественныхъ силъ; — и если, на склонѣ лѣтъ, Сорель привѣтствовалъ Ленина\*), то, конечно, только потому, что — обозначался, что по своему понималъ ленинскую революцію. Вопросъ въ томъ, нецѣло-ли ошибся Сорель. И вотъ, читая Германа, выносишь впечатлѣніе, что нѣтъ. Эта смѣсь «Чернышевскаго» съ «Толстымъ» свидѣтельствуеетъ, кажется, о томъ, что «новый человѣкъ» съ его новой моралью, съ его повышеннымъ социальнымъ чувствомъ, его сознаніемъ ответственности передъ обществомъ, его увлеченностью общимъ дѣломъ, не препаратъ, не чистый вымыселъ, что онъ дѣйствительно **есть** въ Россіи. И подлинно: было-бы грубымъ упрощеніемъ представлять себѣ, что **всѣ** работники нунѣшнихъ русскихъ «фабрикантеровъ» были насильственно загнаны туда. Свидѣтельство Германа служитъ къ подкрѣпленію свидѣтельства «Писемъ Оттуда», гдѣ такъ много говорится о характерномъ, по крайней мѣрѣ для лучшихъ представителей новаго поколѣнія, «чувствѣ коллектива».

Но это только одна сторона дѣла. То, что Германъ и тамъ, гдѣ на сценѣ появляется свѣтское (Провидѣніе, трансцендентное, неизяснимое, вѣдмѣровое Божество, все-же не измѣняетъ вполне требованій художественности, что даже «Булгаринъ» у него какъ-то ужинается съ «Толстымъ», свидѣтельствуеетъ о чемъ-то еще болѣе ужасномъ, нежели то, что мы привыкли считать самымъ ужаснымъ

\*) Въ послѣднемъ (1921) изданіи его «Réflexions sur la violence».

в русской действительности: о нравственном прияти начала ивншей, надъ-социальной организации надзора надъ всми проявленіями чловчческой дятельности, организаци, дятельность которой не подлежит никакой критикъ, которая мыслится по существу непогршимою. Мнвъ Сореля и Кропоткина, очевидно, можетъ уживаться въ сознани вмѣстѣ съ мивомъ обожествленнаго Государства. Трагизмъ всякой Революціи въ томъ, что въ ней цѣль легко подмѣняется средствомъ. Цѣль — «освобожденіе». Средство — усиленіе начала принужденія. «Соціальная» Революціа, какъ ее понимали ея идеологи, въ этомъ отношеніи можетъ оказаться много опаснѣе, страшнѣе «политической» — ибо она радикальнѣе, всестороннѣе, забираетъ глубже. «Земля новая и Небо новое!» Правда, во всякой революціи наличествуютъ элементы «соціальной». О «землѣ новой и небѣ новомъ» мечтали пуритане въ пору Первой Англійской Революціи, гербертисты и бабуисты въ пору Французской. Но тогда «политическая» революціа восторжествовала надъ «соціальной». Въ Россіи случилось обратное. Въ результатѣ революціи «нормализовалась», переходный моментъ, «скачка» въ «новый зонъ» (вѣкъ), самъ растянулся въ «вѣкъ». И разъ такая революціа выполняется согласно плану непогршимаго Провидѣнія, всякое несоотвѣтствіе действительности этому плану должно считаться результатомъ вредительства, злой воли. А въ силу этого новая мораль сама по собою выворачивается на изнанку: запопадъ любить «далекихъ» такъ же, какъ и «близкихъ», ибо всѣ —

братья, замѣняется другою: ненавидѣть «близкихъ» такъ же, какъ и «далекихъ». Преодоленіе границы между областью частныхъ, семейныхъ, личныхъ отношеній и отношеній общественныхъ, получаетъ тотъ смыслъ, что чловкъ вмѣсто того, чтобы вездѣ быть какъ дома, уже нигдѣ не имѣетъ своего угла: онъ всюду «на государственной службѣ» и «подъ надзоромъ». И чѣмъ дальше затягивается «скачокъ», тѣмъ это скачивается сильнѣе — таковъ автоматизмъ развитія «соціальной» Революціи, задуманной и выполненной не по Прудону и Кропоткину, а по марксистски, т. е. по образцу революціи политической, по монтаньярской шпаргалкѣ — и это тѣмъ печальнѣе, что никакой нужды въ этой второй, октябрьской, революціи не было, такъ какъ первая, февральская, открывала широкія возможности осуществленія соціальной революціи ея собственными, нормальными, ей по ея природѣ присущими способами, т. е. путемъ свободнаго проявленія личного почина, при содѣйствіи государственной власти, но безъ государственной регламентаціи, и такъ какъ въ Россіи не было организованныхъ общественныхъ силъ, которыя были-бы въ состояніи воспрепятствовать этому.

Ужасаться, повторяю, приходится прежде всего тому, что чловчческое сознание въ Россіи повидимому склонно примириться съ развившимся изъ Октябрьской Революціи режимомъ. Германъ, правда, говорить о «шарствѣ свободы» какъ еще только имѣющимъ наступить въ результатѣ вовлеченія всѣхъ въ участіе въ общемъ дѣлѣ; но автоматизмъ тех-

ники этого вовлечения таковы, что осуществление прудоновского мифа оттягивается неизбежно на все больше и больше долгий срок, и что, в результате, приходится

считаться с опасностью, как-бы самое представление о том, что такое свобода, не исчезло из сознания бесследно.

М. К.

## Католическое социальное движение.

По мѣрѣ того, какъ развертываются мировыя событія, мы не только присутствуемъ при глубочайшемъ политическомъ и экономическомъ кризисѣ, но живемъ и подѣ угрозой духовнаго крушенія человѣчества. Тоталитарные режимы стремятся замѣнить органическую духовную культуру своей собственной «мистикой», новымъ, наспѣхъ созданнымъ суррогатомъ.

Однако, возникновеніе новыхъ мистикъ не только не приостановило подлинную духовную жизнь, но вызвало новый подъемъ самодѣятельности среди вѣрующихъ всѣхъ христіанскихъ исповѣданій. Во всѣхъ странахъ міра, «религиозники» борются подѣ тѣмъ или инымъ видомъ противъ тоталитарныхъ идеологій, защищая свободу духа и вырабатывая собственную культурно - общественную программу.

Этотъ новый общественный духъ проявила и католическая церковь, особенно съ 1930-го года, съ опубликованія энциклики «Quadragesimo Anno». Мы не станемъ подробно излагать содержаніе энциклики, она достаточно известна. Напомнимъ лишь, что она дополнила и развила основные тезисы посланія «Rerum Novarum», опубликованнаго еще въ 1891-мъ году Львомъ XIII-мъ. Какъ въ «Rerum Novarum», такъ и въ «Quadragesimo Anno» утвержда-

лась необходимость вернуть рабочимъ массамъ человѣческое достоинство, право на «справедливый заработокъ» и на организацию производства на новыхъ началахъ, не противорѣчащихъ духовному равноправію трудящихся. Указывалось, что неотложный долгъ имущаго класса — это поднятіе моральнаго и матеріальнаго благосостоянія рабочихъ. Экономическій произволъ современнаго капитализма былъ подвергнутъ суровой критикѣ, такъ же, какъ и жестокое, безчеловѣчное отношеніе предпринимателя къ рабочей массѣ.

Папскія посланія, и особенно «Quadragesimo Anno», вызвали въ Европѣ и Америкѣ интенсивную религиозно - общественную дѣятельность. Въ то время, какъ католическая интеллигенція разрабатывала идеологию этого движенія, рабочая среда выдѣлила кадры религиозно - настроенныхъ активистовъ, вдохновителемъ которыхъ былъ бельгіецъ, аббатъ Карджинъ, основатель Jos'a (Jeunesse Ouvrière Chrétienne), Объединенія Христіанской Рабочей Молодежи, насчитывающаго сейчасъ 100.000 членовъ въ Бельгійи и 80.000 членовъ во Франціи.

Въ развитіи католической социальной идеологии за послѣднія пять-шесть лѣтъ исключительную роль сыграли труды извѣстнаго